



**В. Ф. ЧИЖ**

**Достоевский как психопатолог.  
Очерк**

<Фрагменты>

**I**

Ф. М. Достоевский и критикой, и публикой единогласно считается великим мастером в изображении болезненных душевных явлений.

Однако до сих пор не сделано ни одной попытки разъяснить эту сторону его художественной деятельности и доказать справедливость общественного мнения о художнике. Зависит такой крупный пробел, как мне кажется, от того что в России очень мало врачей-психиатров, да и те, удовлетворяя насущным требованиям публики, исключительно заняты практической деятельностью. Другое объяснение едва ли возможно, так как в странах с богатою психиатрической литературой врачи всегда с большим вниманием относились к художественным произведениям, если в них встречались изображения болезненных состояний души. Для примера можно указать на обширную литературу о Шекспире как психопатологе. Едва ли нужно доказывать полезность такого рода исследований. Было бы странно допустить, чтобы люди, посвятившие себя изучению душевных болезней, не искали в работах художников материала для себя и не делились своими сведениями с публикой; естественно, что во многих отношениях точные методы изучения психиатров позволяют им более научно исследовать и объяснять материал, даваемый художниками.

Я хочу сделать попытку сгруппировать в одно целое все, что Достоевский в своих произведениях говорит о болезненных состояниях души, и выяснить по мере сил, насколько его описания и суждения согласны с установленными данными современной психопатологии. Для большего удобства в изложении я главным образом буду смотреть на Достоевского не как на романиста, а как на непосредственного описателя действительности. Следовательно, его описания болезненных явлений для меня будут как бы протоколами им виденного; мне, таким

образом, будет необходимо только указать, как много патологических состояний наблюдал Достоевский, насколько верно и полно он описал виденное и правильно ли объяснил. Только по мере надобности буду я указывать на влияние тех условий, в которых Достоевский находился как романист, а также на группировку и освещение интересующего меня материала.

Прежде всего, обращает внимание, что Достоевский описал большее количество душевнобольных, чем какой-либо другой художник в мире; ни у кого другого так часто не фигурируют в произведениях душевнобольные как абсолютно, так и относительно. Во всей русской художественной литературе, конечно, нельзя насчитать их столько, как у одного Достоевского. Вот этот длинный список: Голядкин («Двойник»), Прохарчин («Господин Прохарчин»), Ордынов, Мурин, Катерина («Хозяйка»), Аркадий Федорович («Слабое сердце»), Емелюшка («Честный вор»), Автор («Белые ночи»), Ефимов («Неточка Незванова»), Князь К. («Дядюшкин сон»), Вельчалинов («Вечный муж»), Князь Вадбольский, Нелли («Униженные и оскорбленные»), Раскольников, его мать, Свидригайлов, Мармеладов («Преступление и наказание»), Мышкин, Иволгин, Лебедев («Идиот»), Лебядкин, его сестра, Лембке, Кирилов («Бесы»), Старик Сокольский, молодой Сокольский, Оля («Подросток»), Дмитрий, Иван, Алексей Карамазовы, Смердяков, отец Ферапонт, Лиза Хохлакова («Братья Карамазовы»).

Я не привожу здесь перечня всех персонажей в произведениях Достоевского, так как весьма трудно провести точную границу между главными и вводными; но всех лиц, сколько-нибудь очерченных у Достоевского, едва ли будет более ста, так что более четверти фигур — душевнобольных; такого отношения нельзя найти ни у кого, кроме Достоевского. Очевидно, что Достоевский с особенною настойчивостью стремился именно к изображению душевнобольных, а не избегал этого, как другие романисты. Художник, желающий изобразить жизнь возможно полнее, не может обойти и помешательства, имеющего некоторое место в жизни: на тысячу душевноздоровых приходится три душевнобольных; и понятно, что в той бесконечной галерее лиц, которых выводит пред нами Шекспир, должны быть душевнобольные, иначе картина жизни была бы неполна. В русской литературе можно указать только на одно действительно правдивое описание душевнобольного, это в романе «Война и мир» старый князь Болконский; Толстой в высшей степени верно отметил все важные симптомы старческого слабоумия — болезни, которою страдал Болконский под конец жизни. «Записки сумасшедшего» доказывают, что Гоголь не знал душевных болезней или, по крайней мере, имел лишь весьма неясное понятие

о том, как люди сходят с ума. Более охотно художники изображают отдельные симптомы душевных болезней для достижения известных специальных целей, например внезапное помешательство в драмах усиливает сценический эффект и т.п. Что авторы чаще изображают только отдельные болезненные симптомы или вводят помешательство только анекдотически, это, конечно, легко объясняется как малым их знакомством с предметом, так и тем, что гораздо труднее дать в общем плане рассказа определенное место помешанному, действия которого, а тем более их мотивы, не всегда понятны не только профанам, но и психиатрам, и только великим знатокам человеческой души удается совладать с такою задачей. И относительно русской литературы мнение Крафта-Эбинга остается верным: «изображение помешанных в поэтических произведениях большею частью неверно или по малой мере односторонне». Даже описания отдельных припадков душевной болезни свидетельствуют или о полном незнании авторами предмета, или же представляют поверхностные очерки самых внешних, бьющих в глаза, проявлений душевной болезни, почему нисколько не интересны для психиатра и дают публике или ложные, или крайне смутные сведения о помешательстве.

Между тем очевидно, что есть область доступная и для художников: это не резко выраженные формы помешательства, начальные его фазы, словом, состояния, ускользающие обыкновенно от психиатров, потому что таких больных окружающие часто считают здоровыми; вот описания таких субъектов, так сказать, их истории болезни были бы драгоценным материалом для психиатрии. Но очевидно, что наблюдение и описание душевнобольных очень трудно, если даже романисты, считающиеся хорошими наблюдателями, или избегают этой темы, или дают крайне поверхностное, а по большей части даже неверное описание. И только психиатры, благодаря тому, что гениальные учителя их Pinel, Esquirol, Guislain, Griesinger<sup>1</sup> и др. научили, *как* наблюдать, *на что* обращать вниманье, *чего* искать при исследовании, могут ориентироваться в таком сложном явлении, как душевная болезнь.

Достоевский как в русской, так и во всемирной литературе представляет исключение не только по количеству сделанных им наблюдений, но и по верности и точности описания, достойных лучшего естествоиспытателя (что я постараюсь доказать), и, наконец, по глубине понимания предмета, возбуждающей изумление. Собрание сочинений Достоевского — это почти полная психопатология; там можно найти изложение всего существенного этой науки: многое, очень многое, если не все известное в психиатрии можно изучить в произведениях Достоевского, так что в этом отношении они имеют важное дидактическое значение. <...>

## IV

За сравнительно легкую задачу, изображение того, как начинается душевная болезнь, художники брались так же часто, как и за описание галлюцинаций, и, как известно психиатрам, им обыкновенно это не удавалось. Сравнительно легкой задачей я назвал ее потому, что всякий романист не раз имел случай наблюдать на ком-нибудь из своих знакомых процесс развития психической болезни: следовательно, нужно было только умение схватить сущность и отделить основные симптомы от случайных.

Достоевский уже в начале своей художественной деятельности берется за эту тему в двух повестях: «Двойник» (1846) <и> «Слабое сердце» (1848).

Коротенький рассказ «Слабое сердце» — это, конечно, только общий набросок, и потому в нем можно искать описания лишь более крупных явлений и нельзя ожидать подробностей. Между тем этот рассказ, теперь уже позабытый, поражает глубиной знания сущности процесса развития душевной болезни и жизненностью всей картины.

Аркаша<sup>2</sup> <Вася>, происходящий из податного сословья, человек слабого телосложения, мало развитый, мученик непосильного труда, постоянно боящийся потерять так трудно доставшееся ему положение, даже для поверхностных наблюдателей (какова его невеста) кажущийся несколько странным, очевидно представляет такую почву, на которой даже слабая причина могла вызвать развитие душевной болезни. Достоевский только слегка указывает, в чем состояла особенность его психической организации, но, в сущности, и этого довольно; он был, что называется, впечатлительным или, выражаясь более научно, человеком, у которого легко вызывались патологические аффекты. Когда ему дали чин, то он потерял на несколько дней всякое самообладание, не мог заниматься, словом, был точно пьяный. Если к этому прибавить слабость воли (его отношения к товарищу), детскую наивность (поведение в магазине), слабое развитие я, то становится понятным, что это за человек.

И вот в жизни такого человека, среди радостных, постоянно возбуждающих чувств (любовь и сватовство), появляется беда: ему предстоит непосильная срочная работа, неудовольствие, может быть, даже гнев так много значащего для него начальника, чувство неудовольствия собой, столь сильное в человеке, бывшем всегда добросовестным и аккуратным, и, наконец, необходимость проводить бессонные ночи. Едва ли нужно говорить, что все эти неприятности, в сущности, пустяки, но важно, что в глазах Васи они имели громадное значение. Нельзя,

впрочем, не отметить, что эти угнетающие моменты действовали еще сильнее вследствие того, что предшествовавшее состояние Васи, напротив, было восторженно; переход был чересчур резок, и силен контраст.

Печальное настроение, естественно вызванное всеми этими неприятностями, мало-помалу переходит уже в патологические чувства страха и тоски. Резкой границы нет у Достоевского, так как ее нет и в природе. Вася сходит с ума на глазах читателя мало-помалу; он под влиянием всецело поглотившего его сознание болезненного чувства уже перестает бороться с постигшей его бедой, как это он делал, когда настроение его было подавленное в физиологических границах; является полное неблагоразумие (ушел, чтобы расписаться в книге поздравлений, и потом прогуливался); перестал слушаться своего товарища; наконец, патологически мрачное настроение дошло уже до такой силы, что восприятия перестали доходить до сознания вследствие того, что все сознание сосредоточено на внутреннем процессе, поглощено патологической тоской. Это особенно рельефно изображено Достоевским: Вася, чтобы поскорее окончить рукопись, «ускорить перо», пишет сухим пером, быстро переворачивая страницы. Тут уже появляются иллюзии, больное сознание заменяет или, по крайней мере, смешивает восприятия действительности (сухое перо, чистые страницы) с образами, создаваемыми самим сознанием. В данном случае мы имеем поучительный пример, как образуются иллюзии и каково состояние сознания при их образовании, благодаря тому, что всё внимание поглощено было преобладающими чувствами и вытекающими из них соображениями, Вася не видел, что он переворачивал неисписанные страницы.

Вопреки мнению публики, в психиатрии считается непреложным правилом, что значительное количество душевных болезней начинается не бессмысленными речами, нелепыми идеями или сумасбродными поступками, а болезненными изменениями характера, аномалиями ощущения и настроения и происходящими отсюда состояниями душевного волнения. В начале этого рода душевных болезней наблюдаются беспричинные чувства страха, недовольства, тоски, печали, так как новые представления и стремления, возникающие под влиянием расстройства мозга, в начале бывают еще очень темны, и потому изменение нормального хода мышления и воли и новый психический элемент, входящий в прежнее *я*, выражаются только общим изменением характера и настроения. Болезнь Васи так и должна была развиваться, потому что она принадлежала именно к этой группе. Английские психиатры ставят в большую заслугу Шекспиру, что ему был известен этот закон (хотя при изучении Шекспира в этом и трудно убедиться; может быть, ему только приписывается это знание), между

тем как в науке он стал известен около 40 лет тому назад, благодаря главным образом работам Guislain. Я думаю, что мы имеем более права в этом отношении гордиться Достоевским, так как он действительно знал этот закон, а едва ли можно допустить, что он его вычитал; собственная наблюдательность помогла ему уловить закон природы, так долго незамеченный и учеными художниками.

Психическая боль у Васи выступила на первый план сознания и подавила все остальное; явилось полное безучастие к нормальным впечатлениям, так как до сознания могла доходить только психическая боль: на этой боли и сосредоточено все сознание больного. Такое состояние можно сравнить с состоянием повышенной возбудимости органов чувств: например, больной глаз избегает прежде бывших ему приятными световых раздражений и ищет темноты; так и Вася, мучимый психической болью, избегает всяких сношений со внешним миром; всякое новое впечатление становится ему мало-помалу неприятным, и, безучастный ко всему остальному, он еще более погружается в самого себя. Вследствие этой сосредоточенности ход представлений делается медленным и ленивым, всё сознание Васи поглощено только одним несчастьем; до сознания его все меньше и меньше достигает что-либо из круга его прежних интересов.

Так как при этом всякое впечатление делается неприятным, то у Васи, как и у всякого такого больного, является общее расположение к отрицанию и отвращению и вместо прежнего доброжелательства и любви мрачные побуждения недоверия и ненависти. Но прирожденный человеческому духу закон причинности заставляет искать причины такой душевной перемены, возникавшей благодаря болезненному изменению мозга. Причин этих больные ищут во внешнем мире, потому что оттуда человек привык получать побуждения к своим психическим состояниям; но так как в данном случае причин этих во внешнем мире нет — неокончание работы ничего, кроме выговора и связанного с этим недовольства собой повлечь не могло, — то являющиеся объяснения должны, само собою, быть ложны, сумасбродны, безумны. В этом подыскивании причин перемен душевного настроения, в этих попытках объяснения обыкновенно и состоит главный источник безумных представлений, идей бреда. Логический процесс у душевнобольного тот же, как и у здоровых. Вася *должен* был, как и всякий человек, объяснить себе причину перемены своего настроения. Во внешнем мире нет этой причины, есть только причина к некоторому недовольству собой и беспокойству; вследствие затемнения сознания и расстройства в течении представлений, под влиянием психической боли, он не может понять, что тоска и страх, овладевшие им, — патологическое явление. В других случаях, вследствие

причин говорить о которых здесь не место, больные понимают, что их грусть, тоска и страх, есть результат болезни.

Вот этим путем и развивается ложное объяснение Васи, что за неокончание работы его отдадут в солдаты. Беспокойство о том, что работа не окончена, всё усиливалось и наконец доросло до настоящего ужаса и, конечно, не оставляло больного за все время заболевания. Недоставало второй части идей бреда, они явились потом, когда психическая боль затемнила сознание настолько, что критическое отношение к чему-либо сделалось невозможным.

Вася, происходивши из податного сословия, долго (до получения чина) боялся попасть в солдаты; притом ему, как человеку боязливому, могла нередко приходиться в голову мысль, что, согласно общему правилу того времени, за крупный служебный промах он все-таки еще может быть сдан в солдаты. Ему, естественно, казалось, что патологически ужас обусловлен неокончанием работы (что он ошибался, мы уже видели, а также можем объяснить и почему); стало быть, это неокончание работы есть большое преступление, если могло вызвать в нем такой страх и такую грусть; а ведь за большое преступление отдают в солдаты, следовательно, его отдадут в солдаты. Дойдя до этого заключения, Вася уже сделался сумасшедшим. Логически рассуждение построено правильно, но ложны посылки и вследствие сего неверен вывод.

Человек вообще редко понимает, что настроения в нем меняются вследствие внутренних причин; этим объясняется неверность первой посылки, будто бы патологическое его настроение зависело от неокончания работы. Вторая посылка, — что его отдадут в солдаты за сделанное им крупное преступление, — в сущности, верна; по крайней мере, в этой идее нет ничего невероятного. Вывод, что он сдан в солдаты, есть идея бреда. Присутствие идей бреда профанами считается необходимою принадлежностью помешательства; но мы уже видели, как Достоевский верно понял, что идеи бреда суть явления вторичные, во всяком случае, не больше, как один из многих элементов помешательства.

Если бы Достоевский не упомянул, что Вася происходил из податного сословия, то вся правдивость рассказа была бы подорвана, потому что стало бы маловероятным возникновение именно этой идеи бреда.

Наконец Вася становится совершенно помешанным; он уже чувствует, думает, поступает, как рекрут, а не как чиновник. Вместо прежнего Васи явился новый, с новыми чувствами, мыслями, поступками. Естественно, что рекрут должен прощаться с невестой и вместе с тем чрез посредство друга поддержать ее в таком несчастии; он держит руки по швам, ходит как солдат, то есть как, по понятиям Васи, ходят солдаты; старается убедить начальство, что он не годен

к военной службе. Действительность, его окружающая, для него изменена; только имеющее отношение к его бреду доходит до его сознания, и то в извращенном виде: начальник кажется ему строгим; когда его везут в больницу, то ему кажется, что он едет в казармы, и т.п. Тут появились и иллюзии, и та неспособность воспринимать впечатления, которая свойственна всякому убитому горем человеку, сосредоточенному на угнетающей его идее.

Тут рассказ естественно кончается, потому что не дело романиста описывать, что делается в больнице для душевнобольных. Жизнь в этих убежищах вне сферы наблюдения художника. Да и, наконец, есть границы между деятельностью врача и деятельностью художника; Достоевский знал эти границы.

<...>

## VIII

Достоевский четыре раза изображал эпилептиков: Нелли («Униженные и оскорбленные»), <Мышкин> («Идиот»), Кириллов («Бесы»), Смердяков («Братья Карамазовы»). Было бы странно, если бы Достоевский ограничился одним упоминанием о припадках или простыми их описанием. Он единственный из художников, описавший особенности психической организации эпилептиков, субъективные явления предвестников пред припадками.

Все четыре эпилептика Достоевского душевнобольные; о том, как часто эпилептические припадки комбинируются с психическим расстройством, мы имеем статистические исследования. Рейнольд-Руссель<sup>3</sup> нашел, что у 62% эпилептиков целостность психических отравлений оказывается нарушенной. Тот общеизвестный факт, что некоторые эпилептики обладали гениальными способностями, отнюдь не противоречит тому, что в психическом складе этих больных почти всегда замечаются некоторые патологические особенности.

В проявлениях болезни у четырех эпилептиков Достоевского много разнообразия, и без натяжки можно сказать, что под эти четыре типа можно подвести все модификации этой болезни.

Наиболее слабо выражено болезненное состояние у Нелли («Униженные и оскорбленные»), у ней наблюдался так называемый эпилептический характер. Достоевский так ясно очертил особенности этого характера, что характеристику Нелли прямо можно взять из любого современного учебника психиатрии. Нужно только прибавить, что в то время, когда написана была эта повесть, в психиатрии далеко не был так точно и полно определен эпилептический характер, как теперь, и Достоевский до известной степени опередил науку.

Крафт-Эбинг («Учебник психиатрии», том II, стр. 126) так определяет эпилептический характер: «Сюда принадлежат, прежде всего, ненормальная раздражительность чувств (Нелли по ничтожному поводу выходила из себя), капризный прихотливый характер (например, три раза выплескивала лекарство), переходящий из одной крайности в другую (потом плакала, просила прощения и старалась угодить доктору и Ивану Петровичу), из странной экзальтации с болезненно усиленной волей (чтобы купить новую вместо разбитой ею чашки, пошла на улицу просить милостыню, умела найти квартиры знакомых Ивана Петровича) в психическое угнетение с угрюмостью, ипохондрическим и вообще мрачным настроением (таково было обычное настроение Нелли, пока она жила в квартире Ивана Петровича), навязчивыми идеями (у Нелли их не было, вообще у детей они бывают крайне редко), умственной апатией и усталостью (несмотря на все желание Ивана Петровича, он ничем не мог ее занять; чтение, вначале ее занявшее, она скоро бросила), колебанием и душевным томлением при маловажных случаях (например, почему она разбила чашку и что она потом делала), боязливостью (она пугалась всех новых лиц) и в особенности постоянно недоверчивый (ни Иван Петрович, ни кто другой не мог возбудить ее доверия), замкнутый (она ни с кем не делилась своими мыслями), нелюдимый, постоянно своенравный и обидчивый (она безо всякого повода убегала от Ивана Петровича, бывшего относительно ее крайне снисходительным, и искала приюта у чужих людей), не терпящий никаких противоречий, неспособный принаравливаясь к данным окружающим условиям характер, благодаря которому больные сплошь и рядом являются в роли семейных тиранов (несмотря на всю доброту Ивана Петровича, она стала ему в тягость), мизантропов (Нелли ни к кому не привязалась) и ненадежных друзей».

Но это определение Крафта-Эбинга есть результат совокупной наблюдательности многих; Достоевский же один сказал всё, не сделав ни одного неверного штриха.

Другой эпилептик, Смердяков, страдал вместе с тем отсутствием нравственного чувства, почему о нем будет сказано в другом месте.

С занимающей нас точки зрения менее всего интересен князь Мышкин. Несмотря на то что он герой романа и ему посвящено много страниц, во всем романе найдется лишь несколько строк драгоценных для психиатра — это описание эпилептической ауры. Субъективные ощущения момента, предшествующего припадку, описаны и великим наблюдателем, и большим художником; конечно, субъективные ощущения бывают разнообразны, наконец, бывают припадки безо всяких субъективных и объективных предвестников. Напрасно было бы

искать у психиатров такого живого описания, до сих пор никто из гениальных эпилептиков не познакомил нас так красноречиво со своею аурой. Я уверен, что эти строки перейдут в учебники психиатрии, только боюсь, что это будет еще не скоро: иностранные ученые еще не знакомы с произведениями Достоевского, а русские не привыкли уважать своих гениев. Вот как Достоевский описывает эти субъективные ощущения: «В эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком, когда вдруг среди грусти, душевного мрака, томления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все его жизненные силы. Ощущения жизни, самосознания почти удесятерялись в эти моменты, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом: все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной гармонической радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима...» «Мгновения эти были только необыкновенным усилением самосознания, если бы надо выразить это состояние одним словом, — самосознания и в то же время самоощущения, в высшей степени непосредственного...»

«Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент пред припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: “Да, за этот момент можно “отдать всю жизнь”, то конечно этот момент стоил жизни... В выводе, то есть в оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка, но действительность ощущения все-таки несколько смущала его...» «Минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и неожиданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни...» «В этот момент, — как говорил он, — становится приятным необычайное слово о том, что времени больше не будет». Едва ли нужно говорить, что в «Идиоте» Достоевский остался верен природе: князь Мышкин принадлежит к той группе тяжелобольных эпилептиков, у которых с раннего детства частые и подолгу продолжающиеся припадки ведут к продолжительному и глубокому расстройству сознания, в особенности процесса восприятия, так что этих больных в таком состоянии легко принять за идиотов. Но при правильном лечении и уходе такие больные иногда поправляются; припадки повторяются реже, делаются короче, не сопровождаются последовательным

расстройством сознания. Достоевский только в этом единственном случае отдал должное практической медицине. Само собой разумеется, что такой больной должен вести вполне гигиенический образ жизни. Такая жизнь, однако, невозможна в нашем обществе: припадки вернулись с прежнею силой, опять появилось расстройство сознания, и Мышкин погиб окончательно. Не знаю, умышленно или нет, но здесь Достоевский высказал великую мысль; причина того, что полное излечение бывает редко, заключается не только в неудовлетворительности практической медицины, но гораздо в большей степени кроется в самих условиях жизни, в полном пренебрежении к диетике мозга как со стороны окружающих, так и самих кандидатов на помешательство.

Сильнейший драматизм этого романа, по моему мнению, состоит в том, что окружающие Мышкина люди, до известной степени образованные, расположенные к нему и даже его любящие, и не подумали побересть его здоровье, а с чистым сердцем невежества мало-помалу довели его до неизлечимого, тяжелого помешательства: никто из этих невольных убийц потом нимало и не раскаивался; кто больше любил Мышкина, тот больше всех и повредил ему. Таким образом, главное содержание романа — это неумышленно систематическое убийство человека людьми, желавшими своей жертве всего лучшего. Чего же можно ожидать от людей, менее расположенных, от людей злых! Нет, никакая медицина, как бы она совершенна ни была, не будет в силах что-нибудь сделать, пока не проникнуты в самое общество хотя бы элементарные сведения о гигиене мозга.

Достоевский ни разу лично не говорил о лечении душевных болезней, также как и вообще об условиях, благоприятствующих излечению. Почему это? То, что Достоевский ни слова не говорит о том, как нужно лечить душевнобольных, по моему мнению, как нельзя более доказывает всю силу его таланта. Он знал или по крайней мере чувствовал границу, дальше которой идти нельзя при желании оставаться верным природе; как истинный художник и психопатолог, он ограничился только сферой ему доступною и не брался решать вопросы, в которых не мог быть по самими условиям своей деятельности компетентным; лечение душевнобольных основано на данных анатомии, общей патологии, терапии, то есть суммы фактов, ничего общего не имеющих с предметом изучения художника. Весьма сложная картина психического расстройства должна быть у четвертого эпилептика — Кириллова; Достоевский не дает нам полной истории его болезни, говоря медицинскими языком, а ограничивается только указанием на некоторые болезненные симптомы. В жизни мы далеко не всегда можем вполне исследовать больного, и очень часто наше

суждение бывает основано только на отрывочных наблюдениях, полученных ценою больших усилий. Это зависит главным образом от двух причин: или больной находится в неблагоприятных условиях для наблюдения (например, живет дома или в дурно устроенном заведении для душевнобольных), или же он тщательно скрывает как от врача, так и от окружающих его свои болезненные симптомы. Такая скрытность больных обуславливается или самым характером болезни; например, больной думает, что он сделал открытие, которое все хотят у него украсть; или же нередко бывает так, что больной, заметив, что его считают помешанным вследствие тех или других его взглядов и поступков, хочет добиться, чтоб его считали здоровым и обманывает наблюдателей. Судебная психиатрия может представить много примеров тому, как многим талантливым психиатрам приходилось подолгу наблюдать больного для того, чтобы прийти к какому-нибудь заключению; да и то в конце концов являлось разногласие между экспертами; самая же существенная причина нашего частого непонимания больного — это то, что природа неисчерпаема; напрасно люди создают классификации, схемы, пытаются подвести отдельные явления под общие рубрики; все эти усилия зачастую оказываются бесплодными. Природа создает новые комбинации отдельных явлений в самой прихотливой, мало понятной нам связи симптомов между собой, и человеку поневоле приходится сознаться, что составленная им схема только с натяжкой может быть приноровлена к данному случаю. Конечно, разумный исследователь не обвинит в таком случае ни природы, ни науки, а только постарается сколько возможно сильнее осветить для себя наукой новый факт и сознается, что многое для него непонятно. Наконец, нельзя забывать, что для каждого отдельного человека истина доступна только в соответственной его способностям и трудолюбию степени. Все это нужно было припомнить, для того чтобы приступить к разбору болезненного состояния Кириллова.

Может быть, Достоевский в данном случае только снял фотографический снимок с действительности, и не его вина, что получилось что-то для нас не совсем ясное. Но так как, может быть, исследование самого талантливого психиатра не могло бы разъяснить больше относительно болезни Кириллова, то остается ограничиться указанием на то, что упомянул Достоевский, отказавшись от попытки объяснить себе всю сумму патологических явлений в связи между собой.

У Кириллова были эпилептические припадки. Вот что испытывал он в эти моменты: «Есть секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой...» «Это чувство ясное и неоспоримое...» «Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость».

Уже одних этих припадков достаточно, чтобы с большей вероятностью утверждать, что Кириллов был эпилептик, так как благодаря исследованиям последнего времени мы знаем, что эпилептические припадки нередко не имеют общеизвестного вида, то есть не состоят из потери сознания с клоническими и тоническими судорогами. Рядом работ Гризингера и других исследователей доказано, что эпилептические припадки могут состоять из приступа головокружения, сопровождаемого как бы опьянением, спутанностью мыслей; появляется смутный, похожий на сновидение бред. Со временем такие припадки могут перейти в настоящие, обыкновенные. Кроме того, Кириллов страдал упорною бессонницей, приступами тоски (часто бывает у эпилептиков) и, наконец, высказывал идеи, которые правильнее всего назвать бредовыми. Насколько Кириллов их высказывал, это следующие: главный атрибут божества — воля, своеволие; бесспорным проявлением воли будет самоубийство; поэтому он, решившийся на самоубийство, — человекобог или бог. Как Кириллов дошел до этих идей, много ли времени он посвятил на это, неизвестно (Кириллов уже с этим бредом является на сцену), поэтому мы не можем проследить, как он заболел. Естественно, является другой путь объяснения: Кириллов эпилептик, у него идея бреда, что он бог; но бывают ли такие бредовые идеи у эпилептиков, и если да, то как они развиваются и почему?

Идеи бреда подобного содержания наиболее характерны для эпилепсии. Едва ли больные с другими формами болезни так часто говорят о Боге как эпилептики; немецкие психиатры даже считают специфическим для эпилепсии частое упоминание о Боге, бред религиозного содержания, как они называют, *Gottnomenclatur*.

Впрочем, правильная оценка этого частого бреда эпилептиков сделана весьма недавно: религиозный бред при эпилепсии появляется как вслед за припадками, так и независимо от них; больные считают себя богом, святыми, видят себя вознесенными на небо; отличительной чертой такого бреда эпилептиков служит его чудовищность и сказочность; а что может быть фантастичнее бреда Кириллова? Естественно, что результатом такого бреда будет самодовольное настроение больных, горделивое отношение как существа высшего ко всему; так Кириллов, человек по характеру крайне добродушный, ко всему относится свысока; даже самообладание Ставрогина не возбудило в нем уважения или удивления. Он счастлив по-своему, несмотря на то что окружающая действительность крайне неприглядна; погруженный в свои идеи бреда, он несколько месяцев проводит в созерцательном настроении, несколько не интересуясь тем, что происходит вокруг его. Природа, по-видимому, не отказала в своеобразном счастье и этим несчастным.

Только исключительные умы могут находить столько наслаждения в работе мысли, как некоторые душевнобольные, с громадным трудолюбием и большою любовью разрабатывающие свои идеи бреда, нимало не смущаясь ни окружающею их обстановкой, ни отсутствием адептов своего учения.

Считаю необходимыми прибавить для более полной обрисовки эпилепсии, что психиатры всех стран единодушно говорят, что у эпилептиков часто наблюдается болезненная религиозность, переходящая в ханжество (Мышкин, «Идиот», крайне интересовался религиозными вопросами). Не следует забывать, что магометанская религия была создана эпилептиком; эпилептические видения Анны Ли послужили поводом основания квакерской секты шекеров, Сведенборг был также эпилептик. Кажется, и Татаринова страдала эпилептическими припадками<sup>4</sup>.

<...>

## XI

В глазах психиатра так много общего между тремя братьями Карамазовыми, Раскольниковым, молодым Сокольским («Подросток»), что эти пять лиц составляют одну группу. Уже с детства некоторые особенности их характера обращали на себя внимание окружающих; Раскольникова считали очень впечатлительным и пылким, Алешу сосредоточенным, нелюдимым. В школе они выделяются между товарищами, и, несмотря на внешние, благоприятные условия, ни один из них не может закончить своего образования: Дмитрий Карамазов не мог окончить ни гимназию, ни военного училища вовсе не потому, чтоб он был глуп и неспособен, в обычном смысле этого слова; Алеша оставляет гимназию, не окончив курса; Раскольников — университета; Иван хотя и окончил курс в университете, но как бы подчиняясь неизбежному фатуму, тяготеющему над такими людьми, в сущности, также не закончил своего образования на раз избранном пути, так как готовился быть натуралистом, но забросил эти науки и занялся теологией. Неизвестно где учился Сокольский, но что он учился урывками и мало, можно судить по тому, что он безграмотно писал по-русски. Для всех этих лиц как бы определена граница, дальше которой они идти не могут; разница только в степени: все они уже на этой первой станции человеческой жизни оказываются несостоятельными. Бесспорно, что многие не оканчивают своего образования, но нужно вникнуть в причину явления: внешние обстоятельства, среда, несчастные случайности и т.п. часто прерывают образование людей способных; многим мешают окончить курс лень и тупость. Карамазовы и Раскольников люди способные и любознательные, ничто не мешало им учиться, а все-таки

они не окончили курса. Те же внутренние, глубоко лежащие причины мешают им достигать совершенства в избранной профессии, заканчивать начатые дела, словом, жить как большинство людей. Они скоро отказываются от раз намеченной цели и уже в самом начале своей деятельности оказываются выбитыми из жизненной колеи. Дмитрий Карамазов и Сокольский быстро бросают военную службу; Сокольский, выйдя в отставку, занялся большою игрой, но скоро покинул и это занятие, составляющее, к сожалению, для многих весьма серьезный элемент жизни; Алеша оставляет монастырь, пробыв в нем всего несколько месяцев; Иван бросается в литературу, увлекается теологическими вопросами и тотчас же сам находит это занятие бесплодным и кончает атеизмом; Раскольников делает роковой шаг, чтоб изменить свою карьеру, и сейчас же пасует. Опять-таки людей выбитых из жизненной колеи много; одни из них по слабости не могут удержаться в занятом или чаще данном им (родными, знакомыми) положении; другие сами прокладывают новые пути в жизни, находят их, служат примерами для других или гибнут после более или менее упорной борьбы под тяжестью гнетущих обстоятельств. Про упомянутых героев романов Достоевского этого сказать нельзя. Раскольников, Иван и Алексей Карамазовы и хотели идти по новому пути, но силы их были страшно непропорциональны взятой на себя задаче. Цели, ими намеченные, на первый взгляд могут показаться оригинальными, но стоит вникнуть внимательнее — и окажется, что они чисто фантастические. Что может быть нелепее парадоксов Раскольникова; можно ли не удивляться намерению Алеши поступлением в монастырь достигнуть самосовершенствования; разве не странна статья Ивана, в которой он тщится доказать, что государство должно преобразоваться в церковь.

Наконец, они оканчивают свою жизненную карьеру весьма скоро преступлением и сумасшествием; только Алешу оставляет рассказ еще мальчиком.

Необходимо напомнить, что мать Раскольникова умерла помешанною, отец Карамазовых — пьяница и развратник, мать Дмитрия — эксцентричная женщина, мать Ивана и Алеши страдала истерикой, Сокольский происходил из вымирающей, выродившейся семьи.

Довольно беглого взгляда на всю их жизнь, чтобы сказать, что это какие-то странные люди. Но назвать странными таких людей и тем удовлетворить свою любознательность — несвойственно человеческому уму. Нужно было найти общие признаки их внутреннего мира, найти причины, почему такие люди нам кажутся странными, словом, составить научное, антропологическое понятие, создать естественную группу для таких людей, тем более что таких людей довольно много, они играют роль в жизни; необходимо выяснить, что это за люди.

Сказать, что это люди сумасшедшие, то есть причислить их к категории абсолютно больных... во-первых, это ничего не объясняет, во-вторых, таким образом чересчур расширилось бы понятие о том, что такое помешательство. Поэтому попытка считать всех очень выдающихся из общего уровня людей помешанными была не более как парадокс, введший многих профанов в обман и давший им право говорить, что психиатры считают помешанными всех людей. Известное положение, что гений и помешательство одно и то же — также не более как парадокс; понятно, что и гениальный человек может страдать душевной болезнью, но помешательство — это всегда тормоз для его гения. Гений — прямая противоположность помешательству: гений схватывает предметы глубже, с большего числа сторон, чем обыкновенный ум; душевнобольной или видит меньше, чем здоровый, или в лучшем случае может понимать только крайне односторонне и потому ошибочно. Впрочем, этого краткого замечания довольно, чтобы не возвращаться к опровержению ходячего мнения о гении. Только в последние тридцать лет науке удалось выяснить, что это за странные люди, каковы Карамазовы, Раскольников и Сокольский. Morel<sup>5</sup> обратил внимание ученого мира на то, какое громадное влияние имеют душевные болезни и пьянство родителей на психическую организацию детей, доказал, что у лиц с наследственным расположением к помешательству душевные болезни часто протекают своеобразно, что они часто страдают особою формой душевной болезни, которую и назвал наследственным помешательством. С тех пор все внимание врачей было направлено на изучение лиц с наследственным расположением; скоро стало ясно, что так называемые странные, эксцентричные натуры в большинстве случаев не более как наследственно-предрасположенные к помешательству, что психическая организация этих лиц по своему существу та же самая, как и у больных с ясно выраженным наследственным предрасположением. Словом, выработалось учение о психическом вырождении и выяснилось, что признаки вырождения суть признаки психической организации этих странных эксцентрических натур. Было бы наивно думать, что мы знакомы со всеми элементами такой психической организации, что мы поняли сущность бьющих в глаза аномалий у этих лиц. Известно только кое-что; психическая болезнь, пьянство родителей и нелепые поступки — вот признаки, которыми часто приходится довольствоваться для причисления данного лица в эту группу. Известны и физические признаки вырождения — о них я не буду говорить, но они не всегда бывают налицо. Сделать же психологический анализ субъекта, проследить шаг за шагом, благодаря каким особенностям восприятия, ассоциации, чувствования и т. п. являются поражающие нас поступки — не всегда возможно; еще

психология далеко не разработана, а антропология находится в младенческом состоянии.

Но некоторые признаки вырождения нам известны; чаще всего у лиц с явлениями вырождения наблюдаются повышенные патологические аффекты; это практически весьма важный и резкий симптом разбираемого болезненного состояния.

Понятие об аффекте не только среди публики, но даже и между врачами довольно неясно; между тем, благодаря гласности судебного производства и тому значению, какое придает патологическому аффекту наше законодательство (деяние, совершенное в состоянии патологического аффекта невменяемо), для каждого образованного человека обязательно знать, что такое патологический аффект. Поэтому считаю нужным остановиться на разъяснении, что понимают как патологический аффект современные психология и психиатрия.

Нашим конкретным представлениям постоянно сопутствуют чувствования. Род окраски (удовольствия, неудовольствия), говоря вообще, зависит как от содержания представлений, их интенсивности и продолжительности, так и от способа, каким совершается течение представлений (замедление, задержка процесса производит чувство неудовольствия и т. п.). Сумма или, говоря правильнее, равнодействующая всех в данный момент существующих чувствований есть настроение. Представления при некоторых условиях (внезапность, особое их содержание, важное значение для самого интимного ядра личности) вызывают крайне интенсивные чувствования, бурно потрясающие сознание, изменяющие течение представлений — получают аффекты, то есть непосредственное воздействие чувствования на течение представления. Каждое живое чувствование легко вызывает аффект, с которым и сливается в одно неразрывное целое. В большинстве случаев является внезапное угнетение течения представлений, угнетающие аффекты; реже, напротив, течение представлений ускоряется, является облегчение процесса — возбуждающие аффекты. Сильные чувствования, кроме влияния на течение представлений, влияют на органы кровообращения, дыхания, движения (краснота или бледность лица, ускорение дыхания и т. д.). Такими образом в аффекте, независимо от нашего я, в сознание врываются новые представления, в свою очередь связанные с более или менее живыми чувствованиями (например, взгляд на направленный против нас пистолет возбуждает чувствования страха, представления о смерти, вызывающие глубокие чувствования, представления о том, что приходится потерять, с непременным при этом чувством печали, образы дорогих нам людей и т. д.). Та энергия (чтобы не вдаваться в спорные вопросы психологии, я ограничусь этим общефизическим понятием),

благодаря которой мы управляем течением наших представлений, нашими стремлениями, нашими движениями и до известной степени дыханием и кровообращением, может оказаться достаточною, чтоб овладеть массой новых, живых представлений, оттененных столь живыми чувствованиями, распределить эти представления в привычном каждому из нас порядке, подавить их, словом, что называется, овладеть собой; тогда аффект остается в физиологических границах.

Но если эта энергия окажется недостаточною, ворвавшиеся в сознание представления с сопутствующими им чувствованиями естественно потекут в хаотическом беспорядке, непосредственно вызовут соответствующие движения и общеизвестные явления со стороны дыхания и кровообращения. В таких случаях сознание субъекта или остается, при меньшей энергии аффекта, так сказать, пассивным зрителем происходящего бурного движения, или, при сильных аффектах, отчасти, а то и совершенно затемняется. Причины более или менее полного помрачения сознания, в сущности, ясны и физиологические, и психологические; какую роль играют расстройства кровообращения в помрачении сознания, знает каждый по собственному опыту (обмороки, головокружения). Течение идей в аффекте может быть быстро, так непривычно субъекту, что он не может ими овладеть, кроме того, возникает сразу такая масса представлений и чувствований, что сознание не в силах схватить их; наконец, представления и особенно связанные с ними чувствования по своей силе могут затемнить сознание, вроде того, как сильная боль может довести до потери его.

Задача психиатрии изучить, при каких условиях аффекты становятся патологическими, хотя как теоретически, так и практически, *in foro*<sup>6</sup>, нельзя провести резкой границы между физиологическим и патологическим аффектами; аффект составляет переходную ступень от нормального состояния к патологическому. Принято считать патологическими такие, когда бывает потеря самосознания и, следовательно, отсутствует затем воспоминание за все время аффекта или по крайней мере за тот период времени, когда аффект достигает наибольшей высоты. Пораженный патологическим аффектом представляет полное помрачение внешних чувств, доходящее до обмана чувств и бреда. Человек не сознает более своих поступков; они перестают быть свободными, контролируемыми волей действиями, а становятся бессознательными проявлениями непосредственного раздражения психомоторных центров мозговой коры. Понятно, что почти у всякого психически здорового при известных обстоятельствах аффект может дойти до степени патологического, например при сильном испуге (внезапность; так называемые трусливые люди иногда теряют сознание и совершают нелепые поступки).

Но у людей с явлениями психического вырождения легко наступают патологические аффекты. Сравнительно ничтожные причины, то есть такие, которые у здорового не могут вызвать сильного аффекта, у них уже влекут за собой сильнейшие, даже патологические аффекты.

Дмитрий Карамазов почти весь промежуток времени, который мы видим его в романе, находится в состояниях аффекта; аффекты наиболее сильные у Дмитрия, сильные настолько, что он теряет самообладание и ясность сознания, — это аффекты гнева. Таких людей прежде даже считали одержимыми особою формой помешательства — гневным помешательством, *exsandescentia furibunda*. В монастыре цинизм отца доводит Дмитрия до гневного аффекта; он, несмотря на искреннее желание держать себя благопристойно, забывается, бранится и т. п. Чувство ревности доводит его до того, что после того, как ему показалось, будто Груня прошла в дом старика Карамазова, он врывается в дом отца, бьет и отца, и ни в чем неповинного Григория, которого вообще уважает и любит; наконец, под влиянием ревности, досады он окончательно осатанел и безо всякой надобности бьет насмерть опять-таки совершенно невинного пред ним и безвредного, в сущности, для него Григория. В спокойном состоянии он, конечно, понял бы, что бить до смерти для него ни в каком случае не было необходимости. Под влиянием аффекта он даже не в состоянии был оценить, что он совершил тяжкое уголовное преступление, за которое его ожидают и законное наказание, и упреки совести. Впрочем, Достоевский так ясно и живо описал тот беспорядок в течении идей и чувствований за этот промежуток времени, что лучшую характеристику душевного состояния при аффекте дать едва ли возможно. Стоит припомнить, как Дмитрий хватает пестик, его обращение с горничной Груни, то как он распоряжался деньгами, мытье рук, не связанные никакою последовательностью разговоры с Перхотиным, чтобы понять душевное состояние, характеризующее аффекты.

Но рядом с гневными аффектами, к которым возбудимость у Дмитрия всего сильнее, как это чаще всего и бывает у таких субъектов, он также живо, энергическими аффектами, реагирует и на другие впечатления: надежда на возможность взаимности со стороны Груни сразу изменяет душевное состояние, производит безумный аффект радости: он забывает о только что совершенном преступлении (впрочем, это выражение неправильно: всякое воспоминание о только что сделанном преступлении сразу вытесняется с неудержимою силой ворвавшимися новыми представлениями), о с минуты на минуту ожидающемся арестовании; даже мысль об этом роковом обстоятельстве не закрадывается в его сознание, так оно всецело поглощено представлениями, вызванными радостным аффектом; он делается

словно пьяный (опьянение радостью), со всеми целуется, дружится со смертельным врагом и т.п. Тут в высшей степени интересно, с какой правдивостью Достоевский создал сцену этой моментальной смены аффектов и тем еще полнее оттенил основные признаки такой психической организации. Та же способность легко поддаваться влиянию аффекта обуславливает и его благородный поступок с Катей; взгляд на эту энергическую, честную, беспомощную девушку сразу изменяет и господствующие в нем чувствования (сладоэрастие и цинизм), и течение его мыслей; является новое сильное чувствование, возбуждающее новые, настолько живые представления, что Дмитрий отдает свои последние деньги. Словом, он вдруг изменяется.

Вообще, у него аффекты были настолько сильны, что подавляли самый сильный инстинкт самосохранения; на суде, когда несколько часов приличного поведения были для него необходимы, чтобы добиться смягчения наказания, ничтожное замечание свидетеля тотчас же вызывало такое бурное душевное движение, что он не мог удержаться, чтобы не говорить себе же во вред.

Таким образом, за весь период, описанный в романе, жизнь Дмитрия состояла в непрерывной смене аффектов; спокойное душевное состояние, составляющее обычное явление у здоровых людей, для него было исключением: не он управлял своими чувствами, мыслями, поступками; напротив, он был просто слепым орудием аффектов. Но можно ли назвать его душевнобольным? Ведь он и воспринимает, и перерабатывает воспринятое правильно, не галлюцинирует, идей бреда не высказывает, память не потеряна. Но уже одна живость реакций, легкое появление сильных аффектов ведет к крайне капризному сочетанию идей; да и может ли в таком состоянии человек правильно воспринимать окружающее? Ему некогда сосредоточиться, подумать, обсудить; представления вызываются только соответствующие данному аффекту, сменяются новыми, не успевают еще войти в прочную связь между собой, как уже вытесняются новыми. Разве так протекает духовная жизнь других людей? В тюрьме, в беседе с Алешей, ясно проявляется его полная неспособность к последовательному мышлению, невозможность для него прямо связать ряд представлений в одно целое. Он переходит от одной темы к другой, не успевает развить ни одного своего положения, беспрестанно перерывает себя, часто повторяет фразы, ничем не связанные с предыдущей и последующей речью (Бернары, «Слава в вышних» и т.п.), то решается исправиться и мужественно перенести угрожающее наказание, то стремится к прежней жизни. Словом, материала (представлений) душевной жизни достаточно, но связь его крайне капризна, беспорядочна. Насколько быстро изменяется направление его мыслей, даже при сравнительно

благоприятной для спокойного состояния обстановке, можно видеть, например, как живо изменяется всё его *я* когда он, рисуя картину своей будущей жизни каторжника, вспоминает, что его могут разлучить с Груней; тотчас же это представление о возможности разлуки возбуждает живые чувства злобы и печали, и в сознании являются новые комбинации представлений, мысли принимают совсем противоположное направление; возникают другие желания, другие стремления. Объективное, независимое от чувствований мышление для него почти невозможно, между тем такое мышление составляет не последнюю функцию душевной деятельности здоровых людей.

Мне кажется, что Достоевский так ясно очертил душевный склад Дмитрия Карамазова, что сама собой становится ясна разница между аффектом и страстью; страстность даже до известной степени исключает способность к живым аффектам; указываю для подтверждения этого закона на характеры наций (итальянцы, французы). Различие между страстью и аффектом вполне удовлетворительно выяснено еще Кантом, определившим страсть как непреодолимое или труднопреодолимое для разума стремление, а аффект как преобладание в душе чувства удовольствия или страдания, недопускающее размышления.

Естественно, что при таком патологическом характере Дмитрий не был способен к какой-либо полезной деятельности, не мог быть терпим в обществе; скандалы, драки, преступления — вот сфера таких людей. И если он и мог быть великодушен, то для этого нужно было много условий, редко встречающихся в повседневной жизни. Рано или поздно такие люди попадают в тюрьму, где они составляют несчастье для администрации и товарищей: только заведение для душевнобольных было бы для них полезным убежищем.

Говорить о том, что Дмитрий мог сдерживаться, что его вызывали на преступления исключительные обстоятельства, значит решительно не понимать его характера. Понятно, что такую неправильность характера Дмитрия можно объяснять недостаточностью воспитания в детстве и отсутствием благотворного влияния разумной среды в жизни. Но если б это и было так, то это только доказало бы, что хорошая, правильно обставленная школа может исправить, сгладить врожденные недостатки характера. Если бы побольше людей вроде старика-доктора встречалось в жизни Дмитрия, если бы воспитание и жизнь установили правильнее его характеру, вероятно, что его аффекты были бы слабее, самообладание было бы более развито. Кто же сомневается в том, что разумное обращение — лучшее средство поправления: ведь и душевнобольные легко поддаются хорошо организованной дисциплине; главная задача правильно устроенных заведений для душевнобольных — это перевоспитание пациентов.

Не решая вопроса, находился ли Дмитрий в состоянии вменяемости во время совершения преступления, я положительно утверждаю, что единственно возможный способ сделать из Дмитрия сносного члена общества, это лечить или, правильнее говоря, перевоспитать его в больнице. По этому поводу позволю себе высказать мой личный взгляд на задачу врача-эксперта пред судом. По моему мнению, врач только должен решить вопрос, есть ли подсудимый пациент или нет, то есть нужен ли, полезен ли для него дом душевнобольных. Только такая постановка вопроса может удовлетворять цели правосудия; теперь же нередко эксперт должен сам себе противоречить. Например, на заданный судом вопрос, болен или нет Дмитрий, мог ли по роду и степени болезни он управлять своими поступками, вероятно, большинство психиатров ответило бы, что Дмитрия нельзя назвать душевнобольным в строгом смысле этого слова, что он понимал значение совершаемых преступлений, но не думаю, чтобы один разумный психиатр решился утверждать, что для Дмитрия будет полезнее тюрьма, чем больница для душевнобольных. Для обыкновенных же преступников больница была бы и более тяжким наказанием, и не принесла бы никакой пользы.

Впрочем, я хорошо знаю что ни юристы, ни психиатры не согласятся со мной в понимании задач врача-эксперта: почему это так, об этом нужно было бы говорить слишком много.

Дмитрий представляет собою чистый тип человека с сильными аффектами, преимущественно гневными; но и другие лица этой группы крайне легко приходят в состояние живого аффекта. Самый сдержанный из них (большой ум и продолжительное образование помогли ему управлять собой) это Иван Карамазов, но и этот образованный человек настолько поддается чувству гнева, что бьет больного, беззащитного Смердякова. Насколько сильны аффекты у Алеши, можно судить по тому состоянию, в которое его привела смерть Зосимы; этот двадцатилетний юноша плакал слезами радости, лежа на земле без всякого повода: смерть отца Зосимы так потрясла его, что вызвала ничем не мотивированное настроение, мысли и чувства возникли в новой комбинации, завладели Алешей безо всякого участия его воли: на него «нашло». У Алеши и Сокольского вообще замечается легкая подвижность чувства, делающая их поразительно восприимчивыми, впечатлительными, так что собственно индифферентного или нормального настроения, то есть свободного от душевных волнений, у них не бывает. Сущность психической организации Сокольского делается понятною благодаря одной его фразе; когда Версиков его спрашивает, почему он согласился участвовать в подлоге, то Сокольский (а искренности его можно поверить) ответил: «То есть, видите ли, я знал и не знал. Я смеялся, мне было весело. Я ни о чем тогда не думал... Я знал, но мне

было весело, и я помог подлецам-каторжникам... и помог я за деньги!» Вот объяснение поступкам таких лиц, и одного этого места достаточно, чтобы поставить высоко Достоевского как знатока патологии души.

У всех людей, за исключением немногих избранников, настроение играет некоторую роль в течении их мыслей и поступках; кто не знает, что человек после хорошего обеда становится добродушнее, ленивее, чем был до обеда и т. п. Настроение в каждом отдельном случае создается миллионом ощущений как сознательных, так и бессознательных (в том числе и обусловливаемых органами дыхания, кровообращения, питания и т. д.). Определить, чем обусловлено настроение в данный момент, крайне трудно, почти невозможно; самые наблюдательные, вдумчивые люди иногда не могут дать себе отчета, почему они в том или другом настроении: в той сумме, которая называется настроением, бессознательная жизнь, конечно, составляет бóльшую часть, чем сознательная. Однако не даром же мы называемся сознательными, разумными существами: настроение играет только некоторую (и чем выше психическая организация субъекта, тем меньшую) роль в нашей жизни. По крайней мере, наши серьезные поступки мы стараемся делать независимыми от настроения. Люди, испорченные воспитанием или жизнью (например, властью), привыкают поддаваться своему настроению, даже щеголяют тем, что дошли до того низшего состоянья, когда разумное существо руководится не сознательными целями, а совсем ему непонятными, чисто животными мотивами; раскричаться, когда подчиненный попался под злую руку, облагодетельствовать (конечно, на грош), если под добрую, — это всегда составляет характерную черту таких глубоко испорченных людей.

Но у Сокольского, Алеши и Раскольниковца настроение играет большую роль; настроение (даже не аффект) всецело руководит действиями этих людей. Сокольский участвует в подлоге потому, что ему было весело; ему некогда было думать о том, что он делает, он проживает чужое состояние потому, что ему было скучно и т. п. Алеша бросает гимназию, потому что им овладевает какое-то неясное чувство тоски, он едет посетить могилу матери, но, поглядев на нее один раз, остается в том же настроении. Этот пример хорошо объясняет нам, как такие люди совершают удивляющие нас поступки. Побывать на могиле матери дело столь естественное, но Алеша оставляет гимназию, чего вовсе не нужно, для того чтобы съездить на могилу, на время весь поглощается мыслью об исполнении этого сыновнего долга, исполняет его кое-как, и настроение, вызвавшее этот поступок, остается; и вот вместо разумного поступка является что-то странное, потому что действительным мотивом действий Алеши была не осмысленная сознательная цель, а неясное, непонятное ему настроение. Он не мог

с этими настроением продолжать учиться и жить по-старому, и вот является предлог, и Алеша сам себя обманывает, чтоб объяснить себе, почему он бросает гимназию и едет на родину.

Только преобладанием настроения надо всею духовною жизнью и можно объяснить поступление его в монастырь. Что в наше время юноши из образованной среды не идут в монастырь, это факт сам по себе объясняющий, почему не может быть разумной цели в таком поступке. Автор также не объясняет разумных мотивов, обусловивших этот поступок Алеши, и сам отрицает в нем и тот темперамент, и то воспитание, которое создает истинных монахов, если и допустить, что в возрасте Алеши можно быть истинным монахом; между тем в романе вполне объяснено, почему отец Зосима сделался монахом.

Поступление Алеши в монастырь можно объяснить только преобладанием, господствующим значением в его духовной жизни настроения, чувством тоски, неудовлетворенности вместе с тем известным в психиатрии фактом, «периодом полового развития, когда возбужденное еще неясными половыми ощущениями чувство очень легко объективируется в религиозной мечтательности»; все это на физиологической почве суть доказательства в пользу «внутреннего сродства, существующего между преувеличенным религиозным рвением и половым влечением» (Крафт-Эбинг, т. I, стр. 79). Вне всякого сомнения, что усиленное половое чувство иногда проявляется необыкновенным религиозным рвением, преобладающей склонностью к религиозным упражнениям, а Достоевский указал на общее семье Карамазовых сладострастие; даже Алеша признавался, что он боится этого чувства; вследствие же разных причин Алеша избегал естественного удовлетворения этого чувства. Таким образом, столь крупный шаг в жизни, как поступление в монастырь, у Алеши был просто удовлетворением сильного влияния малосознательных настроений, и глубоко прав психиатр Морель, называя лиц с явлениями психического вырождения инстинктивными людьми.

Подтверждается такое объяснение и тем обстоятельством, что Алеша безо всякого повода оставил монастырь, так как очевидно, что смерть отца Зосимы не имела никакого значения: чтобы пользоваться советами и обществом отца Зосимы, не нужно было поступать в монастырь, как это говорил и сам мудрый старец. Просто прошло настроение, и Алеша, под влиянием новых настроений, увлекается новою деятельностью, но хотя трудно судить, что, собственно, побудило его избрать именно эту деятельность: можно почти наверное предсказать, что он скоро ее бросит, так как тысячелетний опыт доказал всем, кроме Алеши (такие люди мало доступны логическим доводам), что прежде чем учить других, нужно учиться самому.

В качестве инстинктивного человека для него не существует ни науки, ни общественной жизни; по крайней мере, несмотря на свое образование и на время, в которое живет, он решительно не обнаруживает интереса к чему-либо, не вытекающему из его настроения и влечения (религиозные вопросы).

Достоевский старался выставить его крайне симпатичным, чуть ли не героем. На этот раз позволю себе решительно не согласиться с автором: Алеша, как мне кажется, может возбуждать только участие, как всякое слабое болезненное существо. Если он пока не сделал ничего дурного, то это не больше как случайность; такие люди чересчур мягкий воск в руках окружающих, сознательное их я крайне бедно и слабо. Чего, в самом деле, можно ожидать от человека, оставшегося даже в восемнадцать лет совершенно чуждым всяким сознательным порывам к научной или общественной деятельности!

У Раскольникова и Ивана Карамазова, кроме всех этих аномалий психической организации, резко проявляется одна общая черта, делающая их в этом отношении весьма сходными. Но прежде два слова о Раскольникове вообще. О характере Раскольникова было уже много сказано критикой; всякий образованный русский и даже иностранцы знакомы с романом «Преступление и наказание», и, конечно, всякий составил себе более или менее определенное понятие об этой, во всяком случае, загадочной личности. Поэтому весьма трудно еще раз разбирать этот характер и защищать взгляд, резко расходящийся с уже составленным.

Впрочем, чем явление, выбранное художником, сложнее, тем более оно возбуждает суждений, до известной степени справедливых, несмотря на их противоположность. Когда я в первый раз читал этот роман, еще будучи студентом, он на меня произвел подавляющее впечатление, но я совершенно не понял Раскольникова, и, несмотря на все мои попытки объяснить себе этот характер, я должен был признаться себе, что он остается для меня неразрешимой загадкой. Познакомившись с психиатрией, я еще раз перечел «Преступление и наказание» с новым интересом. Я, как врач, собирающий сведения об интересном в медицинском отношении больном, искал в романе указаний о здоровье родителей Раскольникова, так как только у лиц с наследственным расположением к душевным болезням могут быть такие явления, и когда я прочел (обстоятельство, не обратившее прежде моего внимания и не оцененное мною), что мать Раскольникова умерла душевнобольною, я понял Раскольникова и еще раз убедился в гениальности Достоевского.

Даже скептик должен согласиться, что человек, под влиянием раскаяния заболевающий душевною болезнью, в значительной степени

склонен к заболеванию душевными болезнями. Та легкость и быстрота, с которою Раскольников заболевает душевною болезнью и оправляется от нее, вместе с тем, что известно о здоровье его матери, достаточно убедительно доказывает, что он субъект с сильно выраженным наследственным предрасположением к заболеванию душевными болезнями, так сказать, постоянно стоящий на краю пропасти. Двух этих обстоятельств достаточно, чтобы считать Раскольникова человеком крайне болезненным, ожидать всегда от него поступков, несвойственных здоровым людям.

Поэты-моралисты сильно ошибаются, думая, что муки совести доводят преступников до сумасшествия. Макбет и леди Макбет исключительные явления: если преступники и несколько чаще страдают душевными болезнями, то для этого много других причин, кроме влияния раскаяния; впрочем, об этом я уже говорил.

Преступников, галлюцинирующих своими жертвами, едва ли видел каждый тюремный врач; так они редки. За несколько лет моей деятельности в тюремных больницах я положительно не видел ни одного случая помешательства, причиной которого были бы муки совести, не наблюдал ни разу помешательства, содержание которого имело бы непосредственное отношение к преступлению. Впрочем, по этому поводу и не существует разногласий. Достоевский показал в разбираемом романе, насколько справедливы мнения поэтов и публики о том, что преступление в самом себе содержит такое тяжкое наказание, что преступники под влиянием раскаяния заболевает душевною болезнью. Да, заболевают душевною болезнью вследствие мучений совести, но не обыкновенные преступники, а раскольниковы. Этим романом Достоевский показал, что сравнительно с другими художниками он стоит неизмеримо высоко как психопатолог.

Я уже упомянул, что у Раскольникова и Ивана Карамазова есть одна общая черта — это люди с умом выше среднего и значительно обработанным, хотя для них обоих оказалось недостижимым полное образование; известной границы они переступить не могли. Оба они люди с потребностью к серьезной умственной деятельности, одаренные самостоятельную творческою мыслью. Продукты их ума для обыкновенных людей представляются странными, парадоксальными, рядом остроумных, пожалуй, блестящих выводов из узко или ложно понятого основания. Как теория Раскольникова о праве гения распоряжаться человеческою жизнью, так и взгляд Ивана, что церковь должна поглотить государство, нам, людям известной культуры, просто недоступны; если бы мы даже не были в силах доказать ложность этих теорий, то все-таки отнюдь не могли бы с ними согласиться. Конечно, это еще не доказательство того, что творцы их — люди

больные: всегда появляются люди, говорящие новое слово. Огромному большинству проповедь их кажется нелепостью, бредом, но все-таки их никто не решается назвать сумасшедшими; например, учение мармонов, сен-симонизм большинству представляется или вздором, или шарлатанством. Но оригинальные, парадоксальные умы, конечно, имеют полное право на свободу в качестве людей здоровых. Они, может быть, преступники мысли, но не сумасшедшие. Замечательное явление: ни Раскольников, ни Иван не находят адептов своему учению; это уже резко их отличает ото всех других новаторов, так как, сколько известно из истории и психологии, ум высшего порядка (способный к творческой деятельности) всегда подчиняет себе умы более слабые. Является сам собой роковой вопрос: почему Раскольников и Иван, люди с блестящим умом, не могли никого убедить в справедливости своих воззрений. Объяснение этому, в сущности, просто: сами авторы не верили в справедливость своих взглядов. Ивана нельзя даже назвать атеистом: атеизм в качестве школы, философского воззрения есть как бы некоторое подобие веры; я хочу сказать, что Иван был просто циник в самом дурном смысле этого слова, то есть человек, дошедший сначала до отрицания Бога, а затем и всех нравственных законов; всё позволено, всё хорошо, нет ничего нравственного и безнравственного и т.п. Но он только думал так, чувствовал же иначе: убийство отца его возмутило; таким образом, очевиден целый ряд противоречий. Раскольников только на минуту поверил в справедливость своих взглядов, да и то не вполне, и сейчас же от них отказался. Вот самый резкий характерный признак таких болезненных умов; такие люди никогда не верят в то, что сами проповедают. Их теории не стоят в соответствии со всею их натурой, с целым их я; это просто ряд выводов, не имеющих никакой цены, никакого живого значения для самих авторов. По временам они с жаром защищают свои теории, в душе сами сомневаясь; и как бы умны они ни были, окружающее инстинктивно чувствуют, что имеют дело с болтунами (даже простые монахи заподозрили Ивана в атеизме). Эти люди не могут иметь глубоких убеждений; ум их работает чересчур порывисто, не может на продолжительное время завладеть остальными функциями, не стоит в гармонии со всею духовною деятельностью. Демократы, живущие на хлебах у вельмож, проповедники нравственности, удивляющие окружающих своею безнравственностью, набожные люди, постоянно нарушающие все законы религии и делающие это искренно, не из обдуманно-корыстных целей, всё это именно такие болезненные умы; биографии многих авантюристов как нельзя более убеждают в справедливости этого положения. Lombroso<sup>7</sup>, долго изучавший биографии великих людей, страдавших душевными болезнями, говорит, что отличительный признак таких

людей тот, что слово всегда у них расходилось с делом. Чем, например, можно объяснить, что Ж. Ж. Руссо забросил своих детей? <sup>8</sup>

Необходимо приходится заключить, что мышление, творческая способность Раскольникова и Ивана резко отличались от этих функций у людей нормальных; кроме того, они сами во глубине души не верили в справедливость своих теорий, которые оставались чуждыми их я.

Я полагаю, что объяснять парадоксальность теории Раскольникова излишне. Взгляды Ивана представляют анахронизм. Как они дошли до своих взглядов, что побудило мягкого, доброго, честного Раскольникова дойти до такой кровавой теории, естественника Ивана во время всеобщего увлечения взглядами натуралистов сделаться новым quasi-апостолом, в 25 лет увлечься сочинением религиозных легенд? Читая хорошо составленную биографию какого-нибудь избранника, сказавшего свое слово, мы всегда до известной степени можем проследить, как зарождались известные идеи, как обстоятельства жизни, ученые занятия, общественные сношения наталкивали ум на известный вопрос, как неясная вначале мысль прояснялась, вырабатывалась известная теория, деятельность принимала тот или другой оборот. Романы Достоевского, во всяком случае, хорошие биографии их героев; никто не отрицал у Достоевского способности анализировать душу. Между тем мы решительно не видим, как и почему додумались Раскольников и Иван до своих взглядов; их образование, научные занятия стоят вразрез с их теориями. Неужели у Достоевского были пробелы, неполнота в столь крупном вопросе? Я думаю, мало кто решится обвинять Достоевского в том, что в истории Раскольникова и Ивана Карамазова нет объяснения, как зарождались и вырабатывались их теории. Правильнее будет заключить, что если такой глубокий психолог не мог выяснить нам, как и почему известные идеи развивались в головах его героев, то, значит, в данном случае этого невозможно сделать. Да и напрасно было бы искать, каким психологическим путем явились столь чуждые самим авторам взгляды; мы ведь только знаем процесс творчества у здоровых людей; что же можно сказать про этих людей, если даже такой знаток души человеческой, как Достоевский, не мог анализировать, как они мыслят? Такие люди всегда были и, вероятно, еще долгое время будут загадками; психическая жизнь их чресчур разнится от жизни здоровых людей, и им суждено удивлять окружающих неожиданностью своих мыслей и поступков. Можно, наверное, сказать, что относительно их невозможны какие-либо предсказания, кроме одного: что они кончат или сумасшествием, или преступлением, или еще вернее тем и другим вместе. Но если мы не можем объяснить себе, как они додумываются до изумляющих нас своею странностью выводов, то, по крайней мере, мы можем проследить, что направляет

и обуславливает их умственную деятельность. Раскольников быстро разочаровывается в своих надеждах на счастье, огорчен смертью своей невесты, впадает в хандру, лишается заработков, голодает, и вот озлобление на мир, неудовлетворенность жизнью, голод, хандра наталкивают его на мрачную разрушительную теорию. Мы видим в этом случае крайне резко выраженную зависимость мышления от настроения; мысль лишается главного своего достоинства — объективности. Не вправе ли мы были ожидать от Раскольникова, если бы жизнь ему улыбнулась, теории самого идиллического характера? Даже люди талантливые, с чертами психического вырождения, лишены свободы мысли; ум у них является самым покорным слугой более низших психических функций, в чем нельзя не видеть признака несовершенства организации таких людей. Увлечение религиозными вопросами у Ивана имеет ту же почву, как и у его брата Алеши. Я понимаю, что приведенное мною объяснение может многим показаться произвольным: но настаивая на том, что психическая жизнь Раскольникова и Ивана Карамазова нам неясна, я уже этим сказал, что нам приходится ограничиваться более вероятными догадками.

Еще раз считаю нужным оговориться, что считать душевнобольными Раскольникова и Ивана Карамазова только потому, что они создали парадоксальные теории нельзя; нужно брать всю совокупность явлений, и только тогда можно по достоинству оценить значение парадоксальности их ума.

Наконец, в сфере воли у субъектов с психическим вырождением поражает необычайная возбудимость ее представлениями при малой устойчивости возбудимости. Например, Раскольников додумался до оригинальной теории и тотчас же спешит поступать сообразно с ней; так же и Алеша вздумал идти в монастырь. Собственно, каким путем образовались эти идеи, по моему разумению, я сказал. Этот же путь ведет и к быстрому переходу представлений в деятельность. Все у Раскольникова крайне гадко было убийство, но он рабски подчиняется своей идее, у большинства людей это бывает далеко не так: вся история человечества учит, как медленно новые моральные и социальные идеи переходят в жизнь. Такова натура человека. Великие люди умели направлять свою деятельность к воодушевлявшей их идее, но они подолгу колебались, сомневались, страдали, пока идея созревала и наконец поглощала их *я*. У Раскольниковых, хотя бы они и чувствовали, даже понимали нелепость их идеи, все-таки она быстро переходит в дело.

Вообще, в физиологии нервной системы известен закон, что чем проще организация, тем легче раздражение переходит в движение. Головной мозг человека, как самый совершенный орган, обладает в высокой степени способностью уменьшать или даже совершенно унич-

тожать соответствующее раздражению движение. Иллюстрировать это может известный опыт: у обезглавленной лягушки рефлексы спинного мозга наступают быстрее и энергичнее. В той сложной деятельности головного мозга, которая называется психической, эта задерживающая способность играет большую роль; чем выше психическая организация человека, тем больше эта способность развита. Ребенок не в силах сдерживать проявления своих чувств; дикарь обладает этою способностью меньше, чем цивилизованный.

Психическое вырождение, между прочим, почти всегда выражается слабостью задерживающей деятельности мозга. Этот недостаток, указывающий на недоразвитие *sui generis*<sup>9</sup> мозга, проявляется и в той быстроте, с которою аффекты и настроения переходят в деятельность и в подавляющем влиянии представлений на волю. Но следуя общим законам, легкая возбудимость сопровождается малою устойчивостью возбуждения. Если у здорового человека представления перешли в деятельность, то мы знаем, что при этом происходила сложная борьба противоположных представлений и чувств, задерживающие моменты были подавлены, поэтому, само собой, мы в праве предполагать, что импульс для деятельности был достаточно силен, дабы преодолеть все препятствия, мы вправе думать, что воля имеет достаточное напряжение. Но у людей с психическим вырождением представления легко переходят в движения; у них нет устойчивой воли; новые представления с такою же легкостью вызывают новые действия. Только *по видимости* противоречит этому то обстоятельство, что Раскольников имел достаточно силы воли, чтоб отдать себя в руки правосудия. Раскольников скоро решился на преступление, еще скорее решился и на самоубийство, но не мог покончить с собой; отдать же себя в руки правосудия он должен был потому, что судебный следователь все равно арестовал бы его. Сколько противоречащих друг другу намерений и поступков проявил Раскольников в это время, трудно и перечислить: самые ничтожные обстоятельства изменяли его деятельность, и хотя он был умнее всех его окружавших, он благодаря этой неустойчивости воли выдал себя как самый глупый преступник. Только слабость воли может объяснить нам ту непоследовательность, с которою держал себя Раскольников после преступления. Можно ли проявлять большую слабость воли, большую неустойчивость, чем молодой Сокольский («Подросток»)?

Ограничусь самым беглым указанием на ненормальность половой жизни лиц с явлениями наследственного психического вырождения. Любовь обыкновенных, здоровых людей им недоступна. Они (Дмитрий Карамазов, молодой Сокольский) распущены, развратны; любовь (Дмитрий Карамазов) у них иногда принимает характер бешеной страсти, но она не имеет той подкладки, как у здоровых людей, и тут как нельзя

более проявляется странность их психической организации: нельзя определить, выяснить себе, почему данный субъект влюбляется в эту именно женщину, так чувства их капризны, прихотливы. Едва ли нужно говорить, что нравственное безобразие женщины может даже их привлекать; даже физическое безобразие имеет для них что-то притягательное. Молодой Сокольский имел ребенка от идиотки, Раскольников хотел жениться на какой-то психически и физически обиженной природой девушке. Даже в любви обнаруживается, что такие лица, с явлениями психического вырождения, резко отличаются от нормальных людей. Как распущенность некоторых из них не имеет границ, так у других (Иван и Алексей Карамазовы) пуризм является чем-то странным для их возраста. Более подробного анализа значения аномалий половой жизни этих болезненных лиц, по понятным всякому соображениям, делать не буду.

Наконец, нужно обратить внимание на то, что у Раскольникова, Ивана Карамазова, Сокольского сразу и быстро развилось помешательство; психическая болезнь у них принимает не типическую форму, протекает неправильно, то есть все происходит так, как это бывает у лиц с наследственным предрасположением к душевным болезням.

При разборе психопатического характера я старался анализировать каждый отдельный симптом на том из этих пяти лиц, у которого он был резче всего выражен; едва ли нужно прибавлять, что все разобранные симптомы выражены в большей или меньшей степени у каждого из них. Я указал только на главные, более выпуклые симптомы. Если болезненных симптомов много, если они резко выражены, то мы имеем уже вполне больного. При неблагоприятных условиях унаследованные зачатки болезни могут разрастаться; сумма болезненных явлений все увеличивается, и несчастный мало-помалу обращается в душевно-больного. Исключительно благоприятные условия могут ослабить болезненные явления, и тогда здоровые элементы будут настолько преобладать, что только при внимательном изучении субъекта можно заметить в нем что-нибудь патологическое. Естественно, что таким образом существует бесконечная градация от человека несколько эксцентричного до душевнобольного.

<...>

#### XIV

Было бы излишне после всего сказанного братья за сравнительную оценку отдельных произведений Достоевского, тем более что сравнительные их достоинства достаточно единодушно указаны критикой, и психиатру остается прибавить не много. Из мелких произведений самое лучшее «Слабое сердце», слабее других «Хозяйка», так как в ней

совсем не очерчено, в чем состояла болезнь двух действующих лиц (хозяйки и старика); может быть, Достоевский не обладал тогда еще нужным материалом. Из больших романов больше всего недорисованного в «Бесах». Марья Тимофеевна Лебядкина совершенно непонятна; ограничиваюсь этим выражением. Не хочу сказать, что изображение автором ее болезненного состояния просто не верно, ибо охотно готов допустить, что картина, нарисованная Достоевским, чересчур сложна и я не понял ее по собственной вине; при более же тонком анализе, может быть, окажется, что и в этом случае Достоевский был верен природе. Также удивительно, почему у Ставрогина («Бесы») галлюцинации не имели никакой связи с его психической жизнью, да и вообще вся фигура Ставрогина не ясна, кажется деланною. Нельзя не указать и на то, что герой «Идиота», князь Мышкин, чрезвычайно идеализован; едва ли бывают эпилептики с таким ровным характером, безо всяких эгоистических чувств; если и бывают, хотя сомневаюсь, то крайне, крайне редко. Величайшее произведение Достоевского, на мой взгляд, это «Братья Карамазовы». Думаю, что настоящая оценка и полное понимание этого романа невозможны для критика, незнакомого с психиатрией. Исчерпать весь психиатрический материал, заключенный в этом произведении, может только весьма талантливый психиатр; пока же нужно только удивляться глубокой проницательности творца этого романа. «Братья Карамазовы» — это эпопея психически больной семьи, семьи с чертами психического вырождения. За такую широкую задачу не брался еще ни один художник. Дон Кихот — это эпопея только одного душевнобольного; в «Братьях Карамазовых» фигурирует целая патологическая семья. На глазах читателя рождаются, растут, живут, мыслят, чувствуют как психопаты и, наконец, подчиняясь неизбежным законам природы, или сходят с ума окончательно, или кончают преступлениями (воровство, покушение на убийство, самоубийство, убийство). Такой полной и правдивой картины происхождения, развития и деятельности целой семьи, органически связанной общим расположением к помешательству, положительно нет ни в одной литературе. Прекрасно обрисовано отношение общества к такой семье, как влияла эта семья на окружающих и наоборот.

<...>

